





**Павел
АМНУЭЛЬ**

**И
УСЛЫШАЛ
ГОЛОС**

Фантастический рассказ

Лида плачет. И хотя она с улыбкой протягивает мне то чашечку кофе, то поджаренные тосты, но я все равно вижу, что она плачет. Она не может понять, что со мной — я знаю, что стал совершенно другим после возвращения. И ничего не могу объяснить. Ничего.

Художник Геинадий ФИЛАТОВ

Я молча допиваю кофе и выхожу на балкон. Наша квартира на последнем этаже, а дом — тридцатизэтажка — самый высокий в городе, и я вижу, как на территории Института бегают по грузовому двору роботы-наладчики. В машинном корпусе ритмично вспыхивают лампы отсчета — кто-то сейчас стартует в прошлое. Дальше пустырь, там только начали рыть фундамент под новый корпус для палеонтологов. На окраине города, за пустырем, у подъезда Дома прессы полощутся на ветру разноцветные флаги, и выше всех — флаг ООН. Толпу у входа я не могу разглядеть, но знаю, что она уже собралась, и знаю зачем. Я не пойду туда, я никуда не пойду, буду стоять на балконе и ждать, когда Лида соберет посуду и уйдет к своим биологам. И тогда... Что? Я еще не знаю, но что-то придется делать.

У меня всегда была слабая воля. В детстве я слушался всех и подпадал под любое влияние. «Валя очень послушный мальчик», — говорила мать с гордостью. Не знаю, чем тут можно было гордиться. Отец учил меня не подчиняться обстоятельствам. Я плохо его помню — он был моряком, ходил в кругосветки и наверняка в детстве не слыл таким пай-мальчиком, как я. Учился я отлично, потому что подпал под влияние классного наставника.

Когда после школы я подался в Институт хронографии, никто не понял моего поступка. А я всего лишь находился под сильнейшим влиянием личности Рагозина, о чем никто не догадывался, и потому мой поступок был признан первым проявлением самостоятельности.

С Рагозиным я познакомился только на втором курсе, до этого лишь читал запоем его книги и статьи. Они-то и поразили меня, и заставили сделать то, чего я и сам от себя не ожидал. Рагозин, не подозревая того, воспитал во мне мужчину. Вряд ли он предвидел такой педагогический эффект от своих сугубо научных и совершенно лишенных внешней занимательности публикаций.

Рагозин! Маленький, щуплый, морщившийся от болей — он уже тогда был тяжело и безнадежно болен, — создатель хронодинамики подавлял одним своим взглядом. Ему бы родиться в Индии, заклинать змей и гипнотизировать толпу на площадях. Основы хронографии мы знали, как нам казалось, не хуже его самого, потому что сдавали каждый раздел не меньше десятка раз. Только абсолютно полное понимание — и тогда пятерка. В противном случае только двойка. По-моему, Рагозин и жил так, деля весь мир на две категории, два цвета. Хорошее и плохое, белое и черное. Хронодинамика и все остальное. Или пусть хронодинамика принесет людям счастье, или пусть ее вовсе не будет. Он был мечтателем, романтиком. Его выступления перед нами, шалевшими от восторга, невозможно описать. Это надо было видеть и прочувствовать. И надо было видеть и прочувствовать то время, время моей юности.

Первые машины времени были громоздкими, как домны, лишь две страны — СССР и США — владели ими, слишком велики оказались затраты. После каждого заброса на страницах газет

появлялись фотографии и подробные отчеты. Библиотека Ивана Грозного. Петр Первый на военном совете. Линкольн и борьба за освобождение. Хронографы стали, по существу, огромными проекционными, где в натуре оживала история.

Путешествия во времени были сродни первым полетам в космос, только значительно более понятны для всех и потому более популярны. Но никто никогда не выбирался из машин времени в «физический мир». Никто еще не примял в прошлом ни одной травинки, не обменялся с предками ни единым словом.

Как-то мальчишки спорили на улице. Я проходил мимо и услышал. Один уверял, что изменить прошлое можно, но есть конвенция, запрещающая делать это. Другой был убежден, что влиять на прошлое невозможно в принципе. Я подумал о том, как быстро формирует время новые взгляды. Между тем конвенцию ООН о запрещении навеки какого бы то ни было влияния на прошлое принимали уже после смерти Рагозина. Незадолго до смерти учитель заложил первый камень в здание Института времени — того, что стоит в центре города, в котором сейчас размещаются только службы управления. А ведь двадцать лет назад там находились и инженеры, разработчики, технологи и мы — операторы.

Машины времени и сегодня очень дороги — дороже самого современного космического корабля. Даже размеры удалось уменьшить лишь незначительно. Забираясь в кабину управления, я всегда ощущал себя винтиком, выпавшим из какой-то несущественной детали. Я был обвешан датчиками, окружен экранами, привязан к креслу, о том, чтобы выйти в физическое прошлое, и речи не было. Но видеть, слышать все происходившее сто, тысячу лет назад — это ни с чем не сравнимо. Ни с каким полетом в космос. Ни с чем.

Я думал, что со смертью учителя все кончится. Если не хронография, то моя в ней жизнь. Но Рагозин научил не только меня. Были у него ученики и поталантливее. Работа продолжалась.

А потом появилась Лида. Нет, сначала в городе открыли Институт биологии, очередной придаток Института времени. Еще раньше были созданы Физический институт, Институт химии и даже Институт истории литературы. Город рос. Институт времени забирал все: людей, коллективы, целые науки. Биология не была исключением.

Нельзя сказать, что биологи или химики исследовали только то, что мы, операторы, привозили на лентах и голограммах из прошлого. Своих идей, не связанных напрямую с хронографией, у них было достаточно.

Впрочем, когда мы познакомились, я вообще не знал, чем занимается Лида и зачем вообще в городе Институт биологии. Я опять плыл по течению, и опять меня влекло, и имя этому было — любовь. Имя было — Лида.

Когда мы поженились, городской совет дал нам квартиру на самом верхнем этаже нового тогда дома, и мы часто стояли на балконе, как стою сейчас я, и смотрели на город. В центре возвышалась огромная и совершенно, казалось, неуместная башня — машина времени. Сейчас ее нет. Старую разобрали,

а две новые машины, хотя и подпирают крышу операторного зала, но все же не столь динозавроподобны и не видны отсюда. И не видно отсюда того дня, когда Лида сообщила, что биологам удалось синтезировать протобионты. Начисто выпал из памяти этот день. Шесть лет — не такой уж большой срок, чтобы забыть. Помню, что мы отослали тогда Игорьку к родителям Лиды, в Крым, на летний отдых. Я обрабатывал результаты своего последнего заброса к скифам и был увлечен этим занятием. Может, потому и забыл остальное. Ничего больше не помню. Ничего.

Протобионты. Микроорганизмы — прародители жизни. Мало ли всяких микроорганизмов синтезировали биологи за десятки лет? Так мне казалось вначале. Значение синтеза протобионтов я понял только через три года, когда Манухин совершил самое глубокое в истории хронографии погружение. Я был на старте, дежурил у пультов, встречал Манухина неделю спустя — все как на ладони, каждый шаг. Манухин уходил в прошлое на четыре с половиной миллиарда лет — в то время, когда зародилась жизнь на Земле. Его заброс съел энергетические запасы Института на два года вперед. Однако вместо ожидаемых лент с записями зарождения белковых организмов Манухин привез нечто, ужаснувшее всех, кто хоть что-то понимал в молекулярной генетике и биологии низших форм жизни. Я-то сначала не понял ничего. Я судил только по реакции руководителей эксперимента. На страницы прессы шли для публики радостно-взволнованные рассказы о том, как Манухин попал в объятия друзей, а у нас уже знали: Манухин привез данные о том, что на Земле не было и не могло зародиться жизни.

У природы множество законов. Скорость света постоянна — и из-за этого мы не летаем к звездам. Энергия сохраняется — и мы вынуждены искать новые ее источники, вместо того чтобы конструировать вечные двигатели. Есть и в биологии фундаментальный закон — закон концентрации. Лишь в сильно концентрированной среде может путем случайных флуктуаций самопроизвольно зародиться жизнь.

На Земле, которую видел Манухин, где, казалось, вулкан переходил в вулкан, где все грохотало, а океаны в вечных бурях разбивались о крутые берега, на этой Земле закон концентрации не выполнялся. И значит, никакие электрические или магнитные поля не могли родить того, что родиться не могло. Жизнь. Микроорганизмы, одноклеточные, простейшие. Даже это. Ничего.

Помню, я иронизировал. До меня еще не доходило, насколько это серьезно. Я еще не догадывался о том, что мне предстоит. Четыре с половиной миллиарда лет назад жизни не было, но ведь миллиард лет спустя она уже была. В океанах и даже в лужах. Плетнев был в Архее полтора года назад, привез отличный материал. Где-то биологи ошиблись. Ну и прекрасно. Работа для ума — пусть разбираются.

Они и разобрались. Манухинский заброс проанализировали, и все биологи мира объявили в голос — эксперимент чист. Жизнь на Земле зародиться не могла.

Казалось бы, самый простой выход из положения и для нас, хронографистов, самый логичный — проехаться по интервалу в

миллиард лет и поглядеть, что случилось. Так, собственно, и предлагали несведущие, плохо разбираясь в сути того, о чем идет речь. Репортеры, обозреватели, даже некоторые политики — все, кто формирует общественное мнение.

Миллиард лет! Заброс Манухина был энергетически эквивалентен восьмистам стартам в мезозой. Этот заброс отнял у нас возможность двадцать семь тысяч раз побывать в Древней Руси. В общем, если начинать исследовать таинственный участок, нужно бросить все, переключить мировую хронографию на эту проблему, построить еще сотни машин и для этого отобрать средства у многих отраслей хозяйства. Это было невозможно, подобный вздор и обсуждать не стоило. Его и не обсуждали — во всяком случае, в кругу специалистов.

В один из воскресных дней мы с Лидой и Игорьком поехали на озеро. Оно было очень ухоженным, хотя и не искусственным. Рыбу, наверное, можно было ловить руками. Игорек охотился на бабочек без сачка, он, по-моему, уговаривал их сложить крылья и сесть на плечо. Почему я это вспоминаю? Был обычный день на планете Земля: озеро, деревья, трава, бабочки и мы троим. Был. А мог бы не быть. Если верить биологам — просто не мог быть. Не могло, не должно было быть ни полянки у озера, ни нас с Лидой, ни Игорька. Ничего.

У Дома прессы — я это прекрасно вижу с балкона — начинают приземляться вертолеты с голубыми полосами на бортах. Это машины ООН, они всегда являются последними. Значит, минут через десять начнут звонить сюда, искать героя всех времен Валентина Мелентьева.

Когда началось брожение умов, мне пришлось перечитать труды Рагозина. Виртуальные мировые линии мы проходили под занавес — это был самый абстрактный и явно ненужный для нас, хронографистов-операторов, раздел спецкурса. Все в городе только и говорили о мировых линиях. Нашлось, оказывается, единственное объяснение парадоксу Манухина — то, что вся история планеты Земля, начиная с древнейших времен, была и сейчас остается чисто виртуальной мировой линией, которая может оборваться в любое мгновение. И главное, от нас тут ничего не зависит. Ничего.

Виртуальные линии. События, не имевшие причин, а потому не имеющие и следствий в общем развитии Вселенной. Не мудрствуя, можно сказать так: если случается в истории событие, совершенно беспричинное, то история вполне может обойтись и без него, событие не будет иметь никаких последствий, его мировая линия оборвется, и произойти это может или сразу после события, или много времени спустя, но произойдет обязательно, и мир будет продолжать развиваться так, будто странного события не было вовсе.

Человечество возникло и развилось на виртуальной мировой линии — для меня это был бред. И явным бредом казалось утверждение наших теоретиков о том, что мировая линия, на которой существует человечество, неминуемо оборвется, и тогда Земля мгновенно станет такой, какой была четыре с половиной миллиарда лет назад, и будет развиваться в соответствии с логикой природы, и никакого человечества, которое эту логику нарушило, не будет.

У меня была другая идея, и я делился ею со всеми, кто желал слушать. Почему бы не обратиться за объяснением парадокса к инопланетянам? Прилетели четыре миллиарда лет назад на Землю представители иной цивилизации, увидели, что Земля пуста, и заселили ее неконцентрированные океаны протобионтами. А дальше все пошло своим ходом — без парадоксов. И лучше уж затянуть пояса, построить еще сотни машин и найти в прошлом пришельцев, чем жить в постоянном страхе перед полным и неожиданным исчезновением, которого может и не быть никогда.

Я даже на ученом совете выступил с этой идеей. Впервые в жизни. Без толку. Точнее, толк был, но совсем не тот, на который я рассчитывал. Я хотел, чтобы обратили внимание на идею, а обратили внимание на меня самого. И когда решался вопрос о кандидате для заброса, вспомнили о настырном операторе.

Потом я обо всем этом забыл. Потом — долгие недели — был только Игорек. Его закушенные губы, молящий взгляд. Ужасно. У сына был врожденный порок сердца. Не так уж страшно. Если верить врачам, страшных болезней нет вообще. Игорек не отличался от других детей. Пока шла операция, я мерил шагами больничный коридор и прокручивал в памяти одну и ту же ленту — берег озера и как мы бегали, играя в пятнашки. Игорек почти не задыхался. И вдруг — декомпенсация. Синие губы, испуганные глаза, шепот «мамочка, я не умру?». Это было уже потом, но все перепуталось, и мне казалось, что этот шепот как-то связан с нашей прогулкой.

Мы повезли Игорька в Ленинград, нужна была срочная операция. Я забыл про Киевскую Русь, которой тогда занимался. Я помнил бы о ней, если бы на Руси жили колдуны, умеющие заговаривать пороки сердца. Тогда я невидимо стоял бы рядом, и слушал, и смотрел, и учился, и сам стал бы колдуном, чтобы не видеть этих больничных стен и коридора, и немолодого хирурга, который вышел из-за белой двери и только устало кивнул нам с Лидой, и ушел, а потом вышла медсестра и сказала, что все в порядке, клапан вшит безупречно и Игорек проживет двести лет. Напряжение вдруг исчезло, и я подумал: проживет и двести, и тысячу и будет жить всегда, потому что дети бессмертны, если только... Если не оборвется эта слепая мировая линия человечества, которая, если верить уравнениям Рагозина, нигде не начиналась и никуда не вела.

Игорек поправлялся, и я вернулся к работе, зная уже о том решении, которое было принято. Я потом расспрашивал, хотел попытаться, кому первому пришла в голову идея? Не узнал. Наверно, она носилась в воздухе и вспыхнула, будто костер, подожженный сразу со многих сторон.

Человечество должно жить. Жить спокойно, не думая о том, что завтра все может кончиться. И значит, для блага людей нужно на один-единственный раз снять запрет. Нужно завезти в Верхний Архей протобионты, встать на берегу океана и зашвырнуть капсулу в воду. Только и всего. Парадокс исчезнет, и жизнь зародится, и не будет никаких виртуальных линий и пришельцев, потому что люди все сделают сами. Вот так.

Всемирная конвенция запрещала вмешательство в прошлое,

изменить положение могла лишь другая конвенция, потому что контроль был налажен строго, и без санкции правительств девятости трех стран нельзя было сделать ничего.

От нас на совещании в Генуе был Мережницкий — наш бес-
сменный директор. Академик и прочее. Потом, незадолго до
старта, я спросил его — что он чувствовал, когда голосовал за
временное снятие запрета. «Не временное, а однократное», —
поправил он. Оказывается, он думал о том, какое количество
протобионтов нужно будет загрузить в бункеры. Деловой чело-
век. Будто ему уже приходилось участвовать в эксперименте по
созданию человечества.

Я слышу, как Лида подходит к балконной двери, ждет, что я
обернусь, — хочет подбодрить меня перед встречей с журна-
листами. Я не оборачиваюсь, мне предстоит другая встреча, и
не могу я никого видеть. Лида тихо уходит. Обиделась. Пусть.
Я должен побыть наедине с собой. Как тогда.

Да, выбрали меня. Единогласно. Мережницкий предложил и
доказал. До старта оставался год, и работа была адская — по
шестнадцать часов в сутки. Год. Могли бы назначить старт и
через пять лет, чтобы без горячки. Но люди изнервничались,
ожидая конца света, и больше ждать не могли.

В день старта город опустел. Риск был непредсказуем, ведь
никто никогда не выходил в физическое прошлое. Население
эвакуировали, остались только контрольные группы на ЦПУ и
энергостанции. Лиду с Игорем я еще вчера вечером отвез в
пансионат — лес, тишина, чистый воздух.

Я был спокоен. Никаких предчувствий. Я знал, что буду де-
лать на берегу Архейского океана, сотни раз повторял свои
действия на тренировках, стал почти автоматом, уникальным
специалистом по сбросу шестнадцати тонн протобионтов в без-
жизненные воды. Это было двойное количество — по расчетам,
восьми тонн хватило бы для того, чтобы процесс размножения
и развития пошел самопроизвольно. Перестраховка. Если созда-
ешь жизнь на собственной планете, перестраховка необходима.

Нет, я все же нервничал. Я это понял потом, когда экраны
показали мне выпукло, объемно — мощная скала нависла над
узким заливчиком, вся черная, угловатая, мрачная, хотя солнце
стоит почти в зените, и мне даже кажется, что пот течет по
спине от жары, а океан — он такой же, как сейчас, синий-син-
ний с чернотой у горизонта. Должно быть, прошла минута,
прежде чем я перевел взгляд с экранов на приборы — нужно
было поступить как раз наоборот. По приборам все было в по-
рядке. По ощущениям тоже.

Океан грохотал. И вдруг — взрыв. Вдалеке грядой, один
выше другого, будто великаны в походном строю, стояли вул-
каны. Все они курились, горизонт был затянут серой пеленой,
и полупрозрачный этот занавес надвигался на берег. Один из
вулканов — самый близкий — вскрикнул сдавленно и выбро-
сил столб огня: казалось, что одна из голов Змея Горыныча
проснулась и обозлилась на весь мир, прервавший ее сон.

Я отлепил датчики, отвязал ремни, поднялся и встал в каби-
не во весь рост.

Я вышел в физическое прошлое.

Стало душно. И пот действительно заструился по спине.

Я вздохнул; хотя на лице у меня была кислородная маска, мне почудилось, что и воздух, которым я дышу, из этой неживой, еще дымной атмосферы. Кислорода в ней не было. Но он появится, потому что здесь я. И появится жизнь, и будут деревья, и пшеничные поля, и дельфины будут резвиться в синей воде, и дети будут играть на площадках, посыпанных тонким пляжным песком, и будет все, что будет — жизнь на планете Земля.

Я сбежал по пандусу на берег, впервые увидел машину времени со стороны — не облепленную вспомогательными службами, без комплекса ЦПУ, только огромный конус, похожий на вулкан и сверкающий на солнце. Машина была прекрасна. Мир был прекрасен. Я опустился на колени и собрал в пригоршню песок — шершавый, с осколками камней. Я просеял его сквозь пальцы, набрал еще и заполнил один из карманов на поясе.

Потом я заполнил остальные карманы и все контейнеры — около сотни, на каждом из которых сделал соответствующую надпись. Песок в метре от берега. Песок в пяти метрах. Песок с глубины три сантиметра. Пять сантиметров. Грубый песок. Галька. Базальт. И так далее. Я работал. Три часа — столько мне было отпущено программой на сбор материала. Я был сосредоточен, но уже к концу первого часа начала болеть голова. Покалывало в висках. Со временем боль усилилась, голову будто обручем стянуло. Нервы, думал я. Перетащив контейнеры в кабину, я вернулся на берег океана — в последний раз.

Надо мной звонко щелкнуло, и на высоте шести метров из корпуса машины появилась и начала вытягиваться в сторону берега длинная телескопическая «рука». Обратный отсчет уже шел — до начала сбора осталось двадцать семь минут.

Начало смеркаться. С гор шла туча, черная, как глубокий космос. Перед ней вертелись серые облачка, они сливались и разлетались в стороны. Там, на высоте, дул порывами ветер, гнал к океану гарь, и пепел, и дождь — я видел, как между берегом и грядой, километрах в трех от меня, будто занавес упал, соединив тучу с землей, и что-то глухо зашумело. Ливень.

Сбрасывающее устройство было подготовлено, оно нависло над прибором так, что брызги долетали до ковша на конце трубы. Дохнуло ветром — будто от печи. Порыв возник и исчез. Это было предупреждение. Сейчас, вероятно, пойдет шквал. Пора возвращаться в кабину.

И тогда я услышал голос.

— Кто ты?

Я молчал. Не отвечать же самому себе. Кто я? Человек. Обыкновенный человек, делающий самое необычное в истории дело. Начиная историю. Бог. Через миллиарды лет люди создадут бога по своему образу и подобию.

— Человек? Ты прилетел со звезд?

Это не я спрашивал! Не было в моих мыслях такого вопроса. И быть не могло.

Я резко повернулся. Камни. Пепел. Тучи все ближе.

— Ты прилетел со звезд?

Я не думал о том, реально ли это. Меня спросили — я ответил.

— Нет. Я — из будущего.

— Из будущего этой планеты? — уточнил голос.

— Этой, — сказал я. Смятение было во мне где-то глубоко, я не давал ему выхода. Все же я был профессионалом. Я был тренирован на неожиданности любого рода.

— Белковая жизнь?

— Да, — сказал я, оглядывая камни, скалы на берегу, горы на горизонте. Пусто.

— Кто говорит?

— Разум планеты.

— Какой планеты? — вопрос вырвался произвольно.

— Этой. Мысленно ты называешь ее Землей. Постарайся думать четче, с трудом понимаю.

Я споткнулся о камень и едва не упал.

— Осторожно, — сказал голос. И неожиданно я успокоился. Почему-то эта забота о моей персоне напомнила, что нужно задавать вопросы, а не только отвечать.

— С кем я говорю? Где вы? Кто? Какой разум планеты? На Земле нет жизни...

— На Земле есть жизнь. Вот уже около... миллиарда лет. Трудно читать в твоих мыслях. Будь спокоен, иначе невозможен диалог.

— Я спокоен, — сказал я.

— Значит, — голос помедлил, — в будущем здесь появится белковая жизнь. И разум.

— Да, — сказал я. Вернее, подумал, но даже мысленно услышал, как это гордо звучит.

— Я знаю, что такое белковая жизнь, — голос делал свои выводы. — За миллиард лет она появлялась не раз и быстро погибала. Развитие такой жизни невозможно.

— Невозможно, — согласился я. — Потому я здесь.

— Помолчи, — сказал голос. — Думай. О себе, о своем времени, о разуме.

Я не успел подумать. Желание понять, что в конце концов происходит, стало сильнее, чем любая связанная мысль.

— Хорошо, — сказал голос, — сначала скажу я. Я вокруг тебя. Я — разум Земли. Газовая оболочка, да еще примеси, все то, что ты мысленно назвал серой пеленой... Все это я, мое тело, мой мозг, мой разум. Если бы атмосфера Земли имела другой состав, я бы не появился. Органических соединений во мне нет. И все же я разумен. Я чувствую твое удивление. Ты многого не знаешь. Я знаю больше. О мире. О себе. О планете. И умею многое. Эти вулканы — я пробудил их, чтобы мое тело получило необходимые для жизни соединения. Океаны — я управляю их очертаниями, чтобы регулировать климат. Конечно, это длительный процесс, но я не тороплюсь. Ветры, дожди, снег — только когда я захочу. Все целесообразно на этой планете, все продуманно — и горную гряду, так поразившую тебя, воздвиг здесь я. Тебе знакомо понятие красоты. Так вот, этот мир красив... Но мне известен и космос. То, что ты называешь иными мирами. Я думал, что ты оттуда. Появление белковой жизни на Земле убьет меня.

— Почему? — спросил я.

— Ты прекрасно понимаешь, почему, — сказал голос, по-медлив.

Способно ли было это... существо... испытывать страх? Было ли у него чувство самосохранения? Может, и нет, ведь, прожив миллиард лет, оно могло не думать о смерти.

Я смотрел вверх — ковш разбрасывателя уже находился в исходной позиции. Через одиннадцать минут в пучину уйдут контейнеры, и начнутся процессы, которые приведут к зарождению микроорганизмов, потом одноклеточных, рыб, животных и нас — людей. Для него это будет концом. Потому что воздух — его тело — начнет стремительно обогащаться кислородом, который его погубит.

Он погибнет, чтобы жили мы.

Нет — это я убью его, чтобы мы жили.

А как иначе?

— Да, все так, — сказал он.

— Сделай что-нибудь, — попросил я. Я хотел видеть не его — как увидеть воздух? — но хотя бы следы его работы. Хотел убедиться, что не сошел с ума.

Он понял меня.

— Смотри. Туча, которая движется к океану, повернет к берегу.

Это произошло быстро. Туча вздыбилась, вспучилась, края ее поползли вверх, загнулись вихрями, и молнии зигзагами заколотили по камням. Я видел, как в песке возникают черные воронки — такая была у молний могучая сила. И туча свернула. Понеслась в направлении берега, а между мной и вулканами во мгле появились просветы, и солнце будто очистилось, умылось не выпавшей на землю влагой и засияло, и опять был день. И до начала сброса осталось восемь минут.

Я еще мог остановить сброс, это было сложно, но я мог успеть. Пусть живет он — голос, разумная атмосфера Земли. Станный и древний разум. Ведь это его планета, его дом. Почему люди должны начинать жить с убийства? Может, поэтому были в нашем мире ужасы войн, умирающие от голода дети, чума, косившая целые народы? Может, и Чингисхан, и Гитлер были нам как проклятие за то, что я стою здесь неподвижно и тем убиваю? Почему я должен решать сразу за весь мир? За два разумных мира? Почему я должен выбирать?

Мне показалось, что я схожу с ума. Стать убийцей. Совершить грех. Первый в истории рода людского. Все начнется с меня — страдания и муки человечества.

— И счастье его тоже, — сказал голос. — Нет высшей силы, которая соединила бы нити наших жизней и мстила бы вам за мою гибель отныне и во веки веков. Возьми себя в руки. Есть два разума — я и вы. И одна среда обитания — Земля. И нужно решать.

Почему я медлю — выбор так ясен. Люди со всеми их пороками — это люди, это Игорек, это Лида, это Рагозин с его идеями и это я сам.

Две минуты до сброса.

Сейчас я был — все люди. И мог сколько угодно твердить, что не готов принимать таких решений, что это жестоко... Но я должен был решать.

Я не говорил ничего, но я знал, что решил. Я хотел сказать ему, что он создал прекрасный мир и что в этом изумительном мире есть... будет мальчик, которому нельзя не жить. И женщина, без которой этот мальчик жить не сможет. И ради них... И других? И других тоже...

Ковш раскрылся, и контейнеры полетели в пучину океана, сверкая на солнце оранжевыми гранями. Они погружались, и оболочка сразу начала растворяться, и триллионы активных микроорганизмов устремились в темноту воды, и этот миг отделил в истории Земли пустоту от жизни. Одну жизнь — от другой.

Но я все равно слышал голос. Я слышу его все время. И сейчас тоже. Я прислушивался к нему, когда удивленные Мережницкий с Манухиным расспрашивали меня о причине преждевременного возвращения. Я слышал его, когда равнодушно докладывал о выполнении задания. Я слышал его, когда молчал о том, что он был. Приборы ничего не показали, как не показали ничего при забросе Манухина.

Голос приказывал мне молчать. Он и я — мы оба не хотели, чтобы люди знали о том, как они начали жить. Люди не виноваты.

Я слышу голос, стоя на балконе. Он говорит со мной о вечности Вселенной, об иерархии разумов. Он говорит постоянно — даже во сне я слышу его. Я больше не могу молчать. Голос рвется из меня, и я понимаю, что скоро у меня не хватит сил и я начну говорить. Я не должен говорить.

Никогда.